

*Проблемы нашей страны
оказались гораздо сложнее и грандиознее личностей,
взявшихся за их решение...*

Из книги В.Писигина «Хроники безвременья»

Александр Борщаговский*

Порвалась связь времен



Александр Михайлович
Борщаговский
фото В. Писигина

Казалось, достаточно упомянуть автора пяти книг, изданных в недавние годы, напомнить, что он, молодой человек, возглавлял в свое время политический клуб имени Бухарина в Набережных Челнах, являлся президентом Межрегиональной кооперативной федерации СССР, был не только «высочайше» удостоен членства в Президентском Совете РФ (1992), но и вскоре, также «высочайше», оттуда изгнан, вместе с такими достойными людьми, как Н.Шмелев, Г.Арбатов, С.Федоров, Е.Яковлев; казалось, достаточно напомнить, что он ученик и единомышленник покойного Гефтера и посвятил Михаилу Яковлевичу свою незаурядную книгу *«Хроники безвременья»*, – и каждый второй читатель-интеллигент окликнет его: «Писигин! Валерий Писигин!..»

Ничуть не бывало! Не окликнут...

Общество с тупым носорожьим безразличием относится к нестандартным, не освященным влиятельным спонсорством книгам.

Обойдется без ругани и трехпалого свиста, если повезет, то и без доносов, но по худшему из всех возможных сценариев: книги уходят под воду, как в ночную полыню, без всплеска, в мёртвое молчание. Такая судьба, быть может, ждет и книгу Писигина, глубоко взволновавшую меня: «*Путешествие из Москвы в Санкт-Петербург*» (ЭПИцентр, 1997), – и мы обязаны оставить хоть бледный, пунктирный ее след в развалах печатного мусора.

«*Путешествие из Москвы в Санкт-Петербург*»... Иной читатель, не полистав, отложит книгу. «Было», – скажет он. Это уже было; знатные были у нас *путешественники*: Александр Радищев проследовал по маршруту Петербург – Москва; Александр Пушкин тронулся в обратный путь – из Москвы к имперской столице. Знаменитейшая из всех наших дорог, она не раз уже возникала в русской словесности. Авторы путевых замет имели случай сделать удивительные наблюдения. «Ничто так не похоже на русскую деревню в 1662 году, – записал Пушкин, разглядывая старинные рисунки в крамольной книге Радищева, – как русская деревня в 1833 году... Ничто, кажется, не изменилось. Однако произошли улучшения, по крайней мере на больших дорогах: труба в каждой избе, стекла заменили натянутый пузырь; вообще более чистоты, удобства, того, что англичане называют *comfort*».

Свершившееся на «больших дорогах» России за последующие полтора века и то, куда привели нас эти дороги, для Писигина предмет не злого сарказма, а горестных и гневных размышлений. Великие соотечественники призваны на страницы его книги не архивной эрудиции ради. Разминуться с ними на этом тракте было попросту невозможно. Они понадобились для суда над сегодняшней жизнью, которую совестливо и с мужественным тщанием исследует Валерий Писигин. Увлеченный книгой, скоро перестаёшь разделять разновременные тексты, речь отдалённых эпох, проникаешься их таинственным единством, их обреченностью друг другу. Связь времён рвется, и это отдается болью в душе, чёрной тревогой.

Что же такое приключилось с нашим современником на старой дороге, на многолюдном нынче, оснащённом современной техникой тракте? Ничего сногшибательного, а если и возникнет нечто загадочное, то только потому, что сама история наполнена тайнами и каждый встречный для совестливого человека – загадка: в нём и

надежда, и боль, и отчаянье. Скоро начинаешь понимать, зачем понадобилась еще одна книга о **путнике** на этой вечной дороге и о земле, которую наш автор поэтизирует, хотя и знает, кто до него и воспел, и проклял эту дорогу.

Он неторопливо, с непривычной нашей публицистике непредвзятостью одолевает километры от Москвы на северо-запад, немного не доезжает до Питера, – но двух десятков сел, деревень, поселков и городков до Новгорода Великого с избытком хватает для создания панорамы современной России. Поездка его благополучна, беды и катастрофы не подстерегают его, тем удивительнее, что мы взволнованы, и горькая, драматичная жизнь множества людей создает напряженную атмосферу всего повествования.

Как всегда в пути – встречные возникают по воле случая: задержись Писигин на час-другой с отъездом или прибытием в тот или иной посёлок, и ему повстречались бы другие люди, иные судьбы. Но колдовство серьезных размышлений, характеристик и хорошего литературного письма сообщают случайности весомость, подлинность и полноту.

Валерия Писигина не упрекнешь в прекраснодушии. Его гражданский суд и обвинительные вердикты суровы и непреклонны тем более, чем горше боль. «Иной раз остановишься, посмотришь по сторонам, на чём все держится? – задает он далеко не риторический вопрос. – И слышишь такие же удивленные вопросы со всех сторон: "На чем все держится? За счет чего? Уже все, кажется, промотали..." В нашей стране людям месяцами не выплачивают зарплату. Постоянно задерживаются пенсии. Одновременно государство требует от людей быть к нему лояльными».

Одолевают героя трудные думы на выезде из Едрова : «Где такое еще есть? Где примеры из обозримой мировой истории? Где, в какой стране мира могли так оставить стариков, вынесших на своих плечах само наше существование? Где и какое еще государство, послав на несправедливую войну своих молодых, вступающих в жизнь граждан, – изуродовало их и оставило на произвол? Дети какой страны подвергаются массированным бомбовым ударам своего же государства?...»

Вот она, нарочито жесткая, грубая, без покушения на красоту и изящество, речь – единственная, какой можно передать печальную эту повесть!

По условиям повествовательной прозы Писигин не только автор, но и герой книги. Рассказав о трагически длинной шеренге тружеников, выстроившихся в непогоду вдоль дороги в надежде сбыть с рук «хрустальные изделия», выданные им вместо зарплаты (это под Вышним Волочком), или об одинокой паре из Зайцева, вышедшей на дорогу в надежде продать часть выращенного урожая, он гневно спрашивает:

«При чем тут государство, власти, правительство... Какова роль наших кремлевских начальников во всей этой жизни, точнее, в этой ежедневной борьбе за возможность жить?.. Но вот умирает от менингита ребенок, родители которого не смогли купить ему зимнюю, теплую, шапку; погибают под колесами жители сел и деревень, потому что нет в населённых пунктах, через которые проходит скоростная трасса, ни светофора, ни пешеходного мостика, ни тоннеля; умирает молодая женщина, потому что из-за задержки зарплаты у неё не хватает денег на дорогие лекарства; вот двух подростков-братьев сажают в тюрьму за кражу медного кабеля, а их мать на грани самоубийства; вот академик пускает себе пулю в висок из-за невозможности продолжать жить унижаясь... И так далее, без конца. Надо ли спрашивать: "При чём тут государство, власть, правительство?"»

И далее Писигин делает уничтожающий вывод: «Наше государство – не имеет никакого отношения ко всему, что относится к жизни. Жизнь в стране проходит сама собой, без него. И напротив, государство имеет прямое отношение ко всему, что относится к смерти. Почти всякая смерть – производное деятельности этого государства и этой власти...»

Осуждение тех, для кого оказалась непосильной ноша захваченной ими власти, сообщает особую убедительность и неотвратимость истинам, которыми дышит книга Писигина. Не знаю, ощущает ли вполне сам автор размах своего покушения и то гневное упорство, с которым он утверждает независимость личности и враждебность людей насилью власти? Он не зовет Россию к топору, к подвигу неповиновения, но с эпическим спокойствием открывает в

окружающих живые силы ума, нравственности, резервы самоуправления и творящей энергии. И никакого подслащивания, ни одной фальшивой ноты, ни йоты самообольщения, – всякий раз трезвое осознание трудностей пути, единственно способного повести нас к достойному существованию.

Глава за главой открывают закономерность обращения автора к истории, к документу, к диалогу через века автора и великих "первопроходцев маршрута" – Радищева и Пушкина. И становится понятным, отчего две сотни страниц отданы не эффектным мудрствованиям, а обыкновенной жизни и быту, житейским заботам, словно бы ничем особенным не примечательным, и почтительности автора к труженикам, мимо которых мы так часто проходим, не замечая их.

Историческая закономерность открывается и в том, что главенствующее место в книге, как и в реальной жизни, сплошь и рядом занимают женщины. О женщинах – много: много по необходимости, по справедливости – чувству едва ли не решающему в прозе Писигина. Каждой страницей книги он подтверждает свой литературный девиз: «Меня интересует обыденность, повседневность и обыкновенность». А во всех этих *у г о д ь я х*, как известно, царит женщина. Уступив мужчине думские кресла и министерские кабинеты, женщина в нашей обыденности упорно и талантливо управляет со всем, что образует другие этажи бытия – едва ли не всё пространство семьи, школы, просвещения, медицины, воспитания нравственности, службы милосердия... Не то чтобы Писигин выискивал этих новых, пробудившихся, строителей бытия: они и без того вездесущи, обступают его, стучатся во все двери. Образцами этих женщин буквально полнятся страницы книги. Связь времен именно в таких женщинах. Никакие наружные «скрепы», строгости в торопливо принятых законах и указах, никакие кары земные и небесные не обещают нам благополучия, если не пробудится в нас добрая энергия и человеческое достоинство. Связь времён будет рваться вновь и вновь – силы зла еще достаточно велики, – и спасение всякий раз придёт от людей, о которых так убедительно рассказал Писигин.

Казалось бы, как далеки от нас времена Новгородской республики, но чем объяснить, что именно в этих землях в нынешних драматических обстоятельствах возникает практика избираемых

сельским сходом старост – этого рудимента народного самоуправления, пришедшего на помощь бессильным «демократическим институтам»? «Если народ по каким-то причинам не приходит избирать старосту, – растолковывал Писигину начальник одной из низовых новгородских администраций (глава «Едрово»), – то по закону я могу его назначить, но обычно люди всегда приходят на сход и своего права выбрать старосту, решать какие-то общие вопросы никому не отдают».

«Так только у вас или еще где-нибудь в России?» – спрашивает Писигин.

«Не знаю, но в Новгородской области так!»

В заключительной главе – «Новгород» – Писигин узнает из рассказа фотографа, что если прижаться ухом к стене древнейшего из храмов – Софии Новгородской – и прислушаться, то, если повезет, можно услышать трагический и печальный звон знаменитого вечеревого колокола.

Услышав этот набат, Писигин приходит к следующим размышлениям: «Да, большой крови стоит вытравить память о свободе, но еще большей – вновь ее обрести. И когда уже совсем было невмозможу, тогда прорывалось горе людское Разиным, Пугачевым, а потом и Лениным...

...Что можно было противопоставить абсолютному, бесчеловечному произволу "сверху" и дикому покорству, в сочетании с безумной ненавистью, "снизу"? Смелость Радищева? любовь Пушкина? правду Достоевского? совесть Сахарова?.. Это не ими ли отзывается печальное эхо вечеревого колокола?..

...Если пшеничное зерно, пав на землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода... – Писигин приводит Слово из Евангелия и с горечью спрашивает: *Почему же у нас – зерно гибнет и плода не приносит?»*

Верил ли сам Валерий Писигин в то, что голос новгородского вечеревого колокола сквозь века доходит и сегодня до слуха тех, кто хочет и умеет слушать, – но голоса своих современников он расслышал превосходно.

Сентябрь 1997 г.

** Александр Михайлович Борщаговский (1913–2006), советский писатель, литературный критик, театровед, автор более сорока книг. Однако наибольшую известность принес ему сценарий к художественному фильму «Три тополя на Плющихе».*

Настоящая статья-рецензия в своё время была предложена автором нескольким периодическим изданиям, но так и не была опубликована.

На нашем сайте публикуется впервые.